
ЗРЯЧАЯ ЛЮБОВЬ*

*Шмеман А., прот. Собрание статей, 1947–1983 /
сост. Е.Ю. Дорман. 2-е изд. М.: Русский путь, 2011*

1

Писать о книге — это, для меня, свидетельствовать об услышанном. Пусть специалисты спорят о том, что хотел сказать Солженицын в своем «Августе Четырнадцатого», а историки подтвердят или опровергнут его истолкование, его оценку военной катастрофы, с которой началась для России Первая мировая война. Что касается меня, то я знаю только, что вот прошло уже несколько дней, как закрыл я эту удивительную, светом, печалью, радостью, гневом, любовью пронизанную книгу, а в душе все то же ощущение — ощущение праздника, и трудно возвращаться в будни, к «текущим делам». словно поднял, вознес меня Солженицын на некую солнечную вершину, где такой чистый воздух, откуда видно только главное и важное, и невозможным кажется снова начать дышать отравленным воздухом наших низин. А в душе звучит таинственным утешением и обещанием звенящая музыка: «...это был как храмовый праздник, но странный, без колокольного звона, без бабьих веселых платков: съехались на гору хмурые мужики из окрестных деревень и объезжал их шагом то ли помещик, то ли поп верховой и обещал им не то землю дать, не то райскую жизнь за страданье в этой...». И если так переживаешь эту книгу здесь, на свободе, где ничто не угрожает, кроме разве злой газетной статейки и пузырей, идущих от нее по застоющемуся эмигрантскому болоту, то думаешь: как же должна прозвучать она там, в тупой и страшной серости советской казенщины?

2

Почему же праздник? Ведь опять пишет Солженицын о страданиях и смерти, о зле и слабости, ведь все время, пока читаешь, сжимается сердце от жалости к этой обреченности, от ужаса перед этой бессмыслицей, ведь, как уже сказано об этой книге, вся она, действительно, — «плач по России». А между тем еще раз, не открывая ее, проверяю себя, свое впечатление и настроение и снова чувствую: праздник. Но праздник не в простом житейском смысле этого слова, а такой, каким дано нам, да и то редко-редко, «не по закону, а по благодати», — ощутить его в церкви: как прорыв в какую-то глубину, как прикосновение к скрытой сути вещей, как приобщение тому, что за видимым, внешним и преходящим.

* Вестник РСХД, № 100. Париж, 1971.

И прежде всего, конечно, самого Солженицына я ощущаю как новый праздник русской литературы, новое торжество России. Что в такое время есть у России такой писатель — одно это уже наполняет ликованием, одно это можно только праздновать. Ведь вот всю жизнь читал я западную литературу, а французскую, например, со школьной скамьи привык ощущать как свою. И знаю отлично, что не превзойден присущий ей уровень вкуса, меры, умения, слова, присущая ей внутренняя «иерархичность культуры». Великие писатели, средние, малые. Вечные, временные. Но как отлично все они пишут, как знает каждый свое место и выполняет свою функцию, как все добротное, умело, закончено. И, конечно, это и есть культура, и это нужно любить, ценить, действительно «культивировать». Ибо, по сравнению с этой организацией и иерархичностью культуры, как много еще у нас пробелов, хаоса, первобытного беспорядка. Несколько бесспорно великих, несколько средних, а далее все какие-то шеллеры-михайловы и боборыкины, но обязательно с притязанием на глубину, пророчество и учительство. Но почему же, читая западных, даже «великих», все-таки почти всегда можешь прервать чтение — для ужина, прогулки или отдыха, всегда помнишь, что это именно «культура» — насущная, питательная, обогащающая и насладительная часть жизни, а все-таки не сама жизнь? А вот читая Достоевского, Толстого и теперь Солженицына — и ужин, и прогулки, и отдых воспринимаешь как тягостное и ненужное насилие, ибо действительно — «нельзя оторваться», ибо все, о чем написано, совершается действительно со мною, во мне, все это моя жизнь, все это мне и для меня, и, узнав все это, приобщившись этому, уже нельзя ни жить, ни чувствовать, как прежде. И в чем же тайная сила этих русских писателей, захватывающих целиком, без остатка, как бы снимающих саму грань между «культурой» и «жизнью», перемалывающих душу, да так, что пустым и ненужным начинают казаться умное и ученое западное «литературоведение», да и наша собственная, петушком поспевающая за ним, хилая критика?

А именно таков Солженицын. До «Августа Четырнадцатого», может быть, и могло еще казаться, что успех и резонанс его — от острой актуальности его тем, от трагической единственности его места и роли в «современности». Но теперь взял он темой давно всеми забытый эпизод, с таким избытком захлестнутый, казалось бы, волной последовавших беспримечных трагедий и катастроф. И написал роман трудный, без малейшей поблажки для «почитывающего» читателя, произведение почти техническое. Но вот стали для нас тот далекий солнечный август, те столетние сосны, песок и озера восточной Пруссии, движения корпусов и споры генералов — стало все это для нас не только нашей судьбой, нашей трагедией, но и надвременным, вечным свидетельством о человеке, мире и жизни. А это и есть дело великого писателя.

Я не буду возвращаться здесь к тому, что уже раньше, хотя и мимоходом, сказал о для меня несомненных «литературных достоинствах» Солженицына. Об удивительной гибкости и правдивости его языка. О даре воплощения и претворения. О внутренней свободе его от современных литературных фетишей, от характерного для нашего времени писательского «оборота на себя». Все это стало, мне кажется, в «Августе Четырнадцатого» еще очевиднее, как сильнее и глубже стали писа-

тельский «охват» Солженищина, его творческая щедрость и изобилие. Замечу только, что и вкрапленные в ткань романа и иным не понравившиеся кинематографические «экраны» я не считаю ненужными, надуманными. Мне кажется, что Солженищын — писатель, прежде всего, *зрительный*. Все, что он пишет, есть как бы словесный «комментарий», почти реакция на то, что он сначала *видит*. И когда до предела стучается это виденье, когда можно и нужно уже только *видеть* — законными, творчески оправданными воспринимаются и эти «экраны». Ибо, когда закрываешь эту книгу, оно остается, прежде всего, именно виденьем, целостным и неразложимым, претворившим все детали, все действия и само время в один неповторимый, тем августовским солнцем навеки освещенный, живой образ.

3

Я назвал Толстого и Достоевского. Но не для ненужного и бессмысленного сравнения, не как дань избитому обычаю все мало-мальски значительное в нашей литературе возводить к этим двум великанам, а потому, что своей писательской, человеческой и — в данном случае уместно сказать — русской совестью обращен Солженищын к ним так, как ни к кому другому в России.

Имя Толстого не случайно, конечно, проходит через весь роман, да и почти начинается он с явления яснополянского пророка. Имя Достоевского не названо, правда, ни разу, однако не менее явственно присутствие и действие в романе и тех умонастроений, и той «тональности», которые, правильно или неправильно, оказались связанными в русском сознании с пророком Пушкинской речи и «Дневника писателя». Причем и то, что от Толстого, и то, что от Достоевского, — это то, что у них *общее*, несмотря на все различия между ними. Это некий *миф о России*, по-разному, конечно, окрашенный каждым из них, но, на последней глубине, тот же по своей «тональности» и по тому, главное, как услышан и воспринят он был русским сознанием. И именно против этого мифа восстает в своем романе Солженищын, его вскрывает как ложный и губительный, как то, в чем, при всей своей великой и непреходящей правде в другом и главном, оба наших великана *ошиблись*. И потому, даже если не с них началась эта ошибка, а исподволь нарастала в русском сознании, именно к ним и именно потому, что они так подлинно велики, так нераздельно слиты с Россией, так сами — *суть* России, не может не быть обращена русская совесть после пятидесяти лет владычества над Россией всевозможных «бесов».

Ибо в «Августе Четырнадцатого» речь идет о России, о начале ее гибели, об «узле», в котором уже завязываются нити ужасного ее будущего, начинает нарастать распад и конец. Какие же *силы* действуют в этом романе? Не случайно, повторяю, начинается он со студента-толстовца, добровольцем идущего на войну. И так же едут «чистый гегельянец» Костя, и мечтающий слиться с народом Ярослав Харитонов, и даже болтливые, всевозможной «интеллигентщиной» начиненные курсистки щебечут об «очищающем подвиге» войны. Нет, не расслаблена и не разложена еще Россия ни толстовским «непротивлением», ни революционными «бесами», не «сменился еще состав нации» и много еще «тех бород доверчивых, тех

дружелюбных глаз, тех неторопливых, несебялюбивых выражений». Жива, сильна Россия. Толстой — Толстым, революция — революцией, а вот «Россию жалко» — и нужно идти и идут. Кого же и что встречают они, все эти идущие, на войне, в этот судьбоносный момент напряжения всех сил? Встречают как раз тот самый «миф», о котором мы только что говорили и в оценке которого не обойти, увы, двух священных для нас имен. С одной стороны, встречают они тоже «толстовцев», только генералов от кавалерии и инфантерии, пропитанных толстовско-кутузовской верой в «дух» — таинственный и неизъяснимый — русского воинства, дух, заменяющий и стратегию, и заботу об амуниции, и просто заботу о солдате, верящих в идеал капитана Тушина и Платона Каратаева. Встречают толстовское презрение к Вейротерам и вообще немцам, а заодно и к инициативе и к действию как чему-то нерусскому, не тому, чем исконно и подспудно живет будто бы Россия и что делает ее заведомо непобедимой. А с другой стороны — встречает их там, где — как мистическое предзнаменование! — оказалась церковь Николая Кочана, Христа ради юродивого, Двор, столь же твердо верующий, что не может быть Бог ни с кем, как только с нами, русскими, а Божья Матерь не способствовать взятию Львова, а под всем этим религиозно-патриотическим елеем — «милейши» и «добрейши» царедворцы и генералы, не то в угоду «верхам», не то по убеждению, расспрашивающие солдат не о том, ели ли они и отдыхали ли, а о храмовых праздниках их деревень... А в результате — страшное и бессмысленное поражение, трагически-очевидная неслучайность и предопределенность его и потому — значение его как начала уже неминуемо надвигающегося конца. Ведь вот, в сущности, основная тема «Августа Четырнадцатого», тема донельзя простая и горькая.

Но в том-то и смысл этой книги, почти целиком посвященной одному военному поражению — в котором, кажется, ни один историк не усмотрел еще ничего кроме именно «военного поражения», — что вскрывает она его как поражение духовное, возводит его к его духовным корням и прозревает в нем духовные его последствия. А корни его не там или, во всяком случае, не только там, где привыкли видеть их мы, с нашим — и на Толстом, и на Достоевском — возвращенным «мифом» о России. Нет, конечно, не против Толстого Солженицын — кто же против добра, любви и справедливости? И, конечно, вслед за Достоевским отвергает он «бесов» революции, дешевого отрицания корней, преданий, традиций — всего, что составляет душу и плоть отечества. Но вот даже своего маленького взвода не может «разложить» подпоручик-революционер Саша Ленартович. Он может только бессильно и пассивно следовать — даже в атаку! — за своими солдатами, а потом за кучкой героев, выносящих из немецкого окружения тело своего убитого полковника. Его час если и придет, то придет позже. Тем роковым августом этот час готовят, этот взвод разлагают, это поражение — тем более страшное, что «военно» не оправданное, — вызывают не Саша Ленартович и в нем воплощенные «темные силы», и не Дума (требовавшая, оказывается, ассигнований на усиление русской артиллерии, но бесплодно), не «интеллигентщина» и даже не плохие генералы. Его на глубине готовит ложная «мифология», завладевшая волей и разумом России и парализующая их, тем более опасная, что рядится она в ризы света, начинена

псевдомессианской псевдомистикой, той, говоря языком христианской аскетики, духовной «прелестью», которой всегда больше всего боится всякая подлинная духовность.

Да, это очень страшно. Было бы неизмеримо легче и проще, если бы вину за все трагедии мы могли всегда возлагать на кого-то другого, на что-то «чужое». И уж нет ничего страшнее, чем видеть мерзость запустения, стоящую на «месте святе». И потому не удивительно, если к гонению на Солженицына, понятному, самоочевидному — со стороны советчины, прибавится теперь гонение и со стороны тех, кто все еще пребывает в «прелести» и правде предпочитает «мифы» и там, и здесь, за рубежом. Вот уже пущена в оборот зловещая идея о том, что Солженицын — некое коллективное создание КГБ. Подождем продолжения. Ибо как часто не любим мы правды, а любим самоупоеание и самоопьянение всевозможными мифами. И уже почти безразличной становится теперь внешняя окраска этих мифов, ибо та же у них тональность, та же плененность изнутри — ложью, та же подспудная ненависть к правде.

А вот Солженицын *любит правду*. Любит, как самое драгоценное и незаменимое, что есть на земле. И именно она, эта почти чудесная по своей трезвости любовь к правде привела его к теме «Августа Четырнадцатого», к событиям, ответственность за которые не возложить на одни привычные, хорошо пристрелявшиеся «темные силы». И суждено ему, по-видимому, занять трагическое по своему одиночеству место в современной русской литературе: место *экзорциста* русского сознания, освободителя его от всех идолов, пленявших и пленивших его, от собственного нам, увы, идолопоклонства, называется ли он «там» — страшным пресом кошмарного режима или же «здесь» — мистически жутким самодовольством и слепотой блюстителей «чистых риз».

С каждым своим новым произведением все глубже и шире, все беспощаднее охватывает Солженицын эту неразделимую правду и в «Августе Четырнадцатого» подходит к самому первому и глубокому ее «узлу». Вот почему эта «техническая» книга о генералах, окружениях и прорывах есть снова и по-новому глубоко христианская книга. Ибо нет в христианской вере более важного и нужного призыва, чем призыв различать духов — от Бога ли они, нет более губительной опасности, чем подмена, подделка и ложь.

4

Вот снова подошел я к тому, что для меня — главное в Солженицыне, к самой сути того праздника, что так нечаянно, так ослепительно дан нам и раскрывается в его произведениях. Эту суть, этот тайный двигатель солженицынского творчества я назову — *зрячая любовь*. Я убежден, что ею, на последней глубине, определен *строй души* самого Солженицына, а потому и духовный строй его творчества, та одновременно и детская, и бесконечно мудрая его правдивость, которая больше, чем что-либо иное в этом мире, обрекает на непонимание и гонение.

Зрячая любовь. Не просто любовь, которая может быть и так часто бывает и слепой, и страстной, и непросветленной, которая как раз и создает идолов и кото-

рая во всех этих случаях уже не христианская любовь, не та, что заповедана нам в единственной *новой* заповеди Христа. Но и не просто зрение, которое отлично может совмещаться и с неправдой, и с ненавистью, и с подозрительностью, о котором можно сказать: «глазами своими будете смотреть и не увидите». Нет, именно зрячая любовь, таинственное сочетание любви и зрения, в котором любовь, очищенная зрением от всякой иллюзии, пристрастия, слепоты, становится подлинной любовью, в котором зрение, углубленное и омытое любовью, становится полным зрением, способным вместить всю правду, а не разорванные ее обрывки, идолопоклонниками всех «лагерей» выдаваемые за целое. Именно такая зрячая любовь и лежит в основе солженицынского творчества, являет нам его как некое чудо совести, правды и свободы.

Солженицын, прежде всего, поразительно свободен. Но свобода его — от зрячей любви, и потому свободен он той высокой, нравственной свободой, которой, увы, «разучились» столь многие русские люди всех идеологий, всех «лагерей». Я говорил о гонениях на Солженицына. Но с не меньшим страхом жду я и того его «признания», в котором он будет восторженно «признан» выразителем как раз *нашей* идеологии, в которой нам, как дважды два четыре, докажут, что потому он и хорош и велик, что говорит как раз то, что всегда утверждали мы. Докажут, что он монархист или же антимонархист, консерватор или же прогрессист, «истинно православный» или же «модернист»: то есть, иными словами, препарируют и преподнесут нам «идеологию» и «учение» Солженицына, начиненные жеваными и пережеванными и оскомину набившими «идеями», и ими, как серыми тучами, закроют праздничное утреннее солнце, обещавшее, наконец, после тяжелой и душной ночи свободу, свежесть, радость.

Тогда как от всякой «идеологии» и свободен как раз Солженицын, и нас может освободить. Тогда как пишет он не еще один трактат о лекарстве, а сам есть то лекарство, по которому истосковался наш организм. Тогда как в том и праздничная сила его творчества, что берет он слова «Россия», «вера», «народ», слова, давно уже переставшие быть словами, а превратившиеся в «лозунги» и «проблемы», наполнившиеся идеологической узости и ненависти, пропитавшиеся злобой, ставшие только разделять и мучить, — берет и, омыв своей зрячей любовью, возвращает нам, ничего как будто и не объяснив, новыми, правдивыми и жизнеспособными.

5

«Россию... жалко», — говорит толстовец Саня. И вот нужно идти воевать за нее, нужно, чтобы «не переломили ей хребет» немцы. Почему нужно? Потому ли, что у нее какая-то особенная «стать», особенная «суть», в которые, как учили нас, «можно только верить»? Потому ли, что обязательно и самоочевидно *за* нее, а не *за* немцев, Бог и Божья Матерь? Потому ли, что она все то, что возмечталось о ней в горделивом русском мечтании и что уже выдохшейся дешевой мистикой и разменной монетой пестрит в газетных вырезках наряду с коньяком Шустова и «идеальным бюстом», доступным «всякой даме»? Да нет, совсем нет, — как бы спо-

койно, правдиво и смиренно отвечает Солженищын. А потому просто, что Россия *есть* и что она, а не другая страна, наше отечество, подаренное нам, как солнце, как воздух, потому что она — наш дом и наше тело, и нет человека без дома и тела. Конечно, лучше бы для России мир и союз с Германией, чем эта ненужная война, лучше бы поучиться у этих самых немцев — порядку, организации, производству. Но вот дошло до войны, и, значит, нужно воевать. И это «нужно», это «жалко Россию» — убедительнее, самоочевиднее и правдивее всей мессианской риторики, как самоочевиднее и риторики обратной — революционной. И потому что самоочевидно, ничего не отвечает Саня, «ему нечего было ответить». Но словно подарена нам снова Россия — живая, сложная, сильная, слабая, греховная, праведная, умная, глупая... Россия, которая *есть*. В которую не нужно «верить» — ибо верить нужно только в Бога! — но для которой нужно жить и за которую, если нужно, — нужно и умереть.

А если воевать, то делать это следует как можно лучше. Как освежительен в наш век лицемерного «пацифизма» и «отрицания войны» и столь же лицемерно-елейного ее «оправдания» всевозможными идеологиями — простой и честный интерес к ней Солженищын. Не отрицает он войны, но и не оправдывает, ибо и то, и другое бессмысленно. Война *есть*. И его интерес к ней — это не интерес специалиста и не любительство «любителя», это глубокое внимание человека, знающего войну как тяжелое и страшное дело, которое требует от человека напряжения всех его сил — ума, воли, но и совести и, в последнем итоге, всей человечности. Ибо здесь проверка всему в человеке. Здесь берет в нем верх либо самое лучшее, либо самое худшее, здесь мера отношения его к жизни, мера способности на жертву и бескорыстие. И отсюда именно — детальность, почти техничность описания войны у Солженищына и отрицание им всякой ее «романтики» — положительной или отрицательной. Ибо не чудесами и не предзнаменованиями ведется и решается она, а вот тем — удастся ли ликвидировать пустоту на левом фланге, двинутся или не двинутся корпус Благовещенского и кавалерия Ренненкампа, выполнит ли — умело, умно и по совести — каждый генерал, офицер и солдат то, чего требуют от него обстоятельства. С этой точки зрения «Август Четырнадцатого» — это также ответ Толстому, ответ «Войне и миру», опровержение толстовско-кутузовской «мифологии», как и всякой другой «мифологии». Если плохи генералы и офицеры, а их много — плохих, нерешительных, неспособных, то все разлагается и бежит. Хорош генерал, знает свое дело офицер — и все держится, и совершаются, действительно, чудеса храбрости, и *можно* побеждать и победить.

Все это, как в фокусе, сходится в трагическом образе генерала Самсонова, «семипудового агнца», обреченного на гибель и извне, и изнутри. Извне — тяжестью всех «мифологий», парализующих армию сверху донизу. Изнутри — невозможностью для него преодолеть их, освободиться от них иначе как обрывом всех «коммуникаций», отречением от власти и, в пределе, смертью. Гибель Самсонова — чистого, честного, знающего, умного и храброго генерала, ясно сознающего, от чего он гибнет, и сознающего также, что «ничего не мог иначе», — это вершина зрячей любви Солженищына, это ключевой символ «Августа Четырнадцатого». Ибо если так легко, так безболезненно принимают эту гибель «милейшие» и

«добрейшие» люди, заседающие в Ставке, если все снимается, заглаживается и разрешается елейными ссылками на «подчинение воле Божьей» — то действительно начинает завязываться узел обреченности над Россией. Ибо «молитвой квашни не замесишь», — говорит Солженицын и в конце бросает страшное: «Не нами неправда сталась, не нами и кончится». И говорит это писатель-христианин, не допускающий, чтобы слово «Бог» печаталось с маленькой буквы, от Бога выводящий и к Богу возводящий судьбы и всего мироздания, и каждого человека. И тут мы подходим к последней правде Солженицына, которую, как это ни трудно, нужно услышать, иначе незачем и читать «Август Четырнадцатого».

6

Ибо, конечно, у Солженицына над всем и над всеми — Бог. Но, читая его, вспоминаешь и с новым трепетом понимаешь, почему даже произносить имя Божие запрещено было древнему Израилю. Нет, солженицынский Бог не тот, чье имя можно склонять во всех падежах в приказах и донесениях и которое, как это ни страшно, тоже духовно написано с маленькой буквы. Не Бог, ссылками на которого снимается человеческая ответственность, замазывается правда и оправдывается бессмыслица, не Бог, позволяющий всегда кого-то священно ненавидеть, а себя любить и превозносить. Не Бог, которого всегда можно использовать, которым всегда можно все объяснить, построив гладкую, с виду смиренную, а по сути бесконечной гордыни исполненную «историософию». Бог Солженицына — Бог живой и истинный, «неизреченный, неведомый, невидимый, непостижимый». Бог бесконечно далекий, Всевышний — и живой, бесконечно близкий единственной и бесценной душе человеческой. Бог, Который *есть*. И потому, что Он есть, стоит перед Ним человек, живой и неповторимый, свободный и ответственный. Не пешка в руках таинственных и стихийных сил, «темных» или «светлых», не раб безличных кумиров и идолов, а ответчик Богу за данную ему жизнь, за себя и за братьев своих и за врученные ему таланты. Только нашел бы он *строй души*, только был бы верен — не на словах, а на деле, только бы пребыл он смиренен, мудр, правдив, свободен и совестлив. И тогда в нем и через него, даже в аду страдания, бессмыслицы и смерти, царит лад и светит свет и спасается человек.

За что умирает полковник Кабанов? Почему гибнет Дорогобужский полк? В ответ на эти вопросы нет у Солженицына ни одной «громкой» фразы — даже о России или о «славе русского оружия». Так спокойно, почти по-деловому, замечает он, что «всегда, во всякой армии есть эти удивительные офицеры, в ком сгущается вся высшая возможная стойкость мужского духа». И затем: «отрезано: такие же, как мы, другие — уходят, уйдут, вернутся домой, а мы не должники их, не родственники, не кровные братья, останемся умереть, чтобы они жили после нас». И вот, без громких фраз, над бессмыслицей и безнадежностью воцаряется тот один смысл, который вечен и не зависит ни от чего в этом мире, та одна правда, что торжествует и над иррациональной историей, и над муравейником человеческим, и над самой смертью. Та, о которой как о мере всего и о сущности всего и о

победе надо всем сказано в Евангелии: «за други своя...». И когда несут несколько всеми брошенных солдат тело своего начальника и совершается, в солнечное и мирное утро, на светлой полянке, под высоким и праздничным небом, это удивительное отпевание — «напевом проверенным, голосом слитным», — мы и не спрашиваем больше, за что, почему. Ибо дано нам участие в таинственном празднике, который всегда «не от мира сего», но светом, правдой, красотой и радостью которого только и можно жить в мире этом.

Так, на последней глубине, и религию «освобождает» и очищает Солженицын от облепившего ее маленького человеческого идолопоклонства, от подчинения ее себе и своему, от всего в сущности псевдорелигиозного и псевдохристианского в ней. И, может быть, это важнее всего сейчас, ибо ничто не затемнило так лик Божий в мире и не мешает так людям видеть Его, как все эти «человеческие, слишком человеческие» — политические, социальные, расовые, националистические *редукции* религии. Но, очищая, снова и по-настоящему ставит ее Солженицын в центре всего. Нет, не о религии, не о религиозных «проблемах» и «исканиях» его книга. Но вот закрываешь ее, и само собой приходит: «О Боге великом он пел...»¹. Ибо от Бога — эта совесть, эта правдивость, это мужество, эта свобода от всех идолов, от всякой лжи. От Бога это виденье мира, человека и жизни. От Бога, наконец, эта зрячая любовь к поистине многострадальной России. И потому что от Бога, потому и свидетельство о Нем.

Какая эта прекрасная, освобождающая, очищающая книга, какой это праздник! Каким полным, заслуженным счастьем должен быть счастлив написавший ее Александр Солженицын.

¹ Из стихотворения М. Лермонтова «Ангел». — *Прим. сост.*